



ИРИНА  
КРАСНОГОРСКАЯ

---

**ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИГАРО**  
**и его звёздное окружение**  
из истории русского театра и журналистики  
второй половины XIX века

---



Рязань  
Издатель Ситников  
2007

ББК 85.334

К78

**Красногорская И.К.**

**К78** Петербургский Фигаро и его звёздное окружение: из истории русского театра и журналистики второй половины XIX века / ред. Т. Банникова; худож. Т. Полищук. – Рязань: Издатель Ситников, 2007. – 608 с.: ил.

ISBN 978-5-902420-17-0

Книга знакомит читателей с представителями русской культуры второй половины XIX века, так или иначе имеющими отношение к С.Н. Худекову, известному тогда издателю и журналисту, драматургу и историку балета. Один из успешных помещиков (крупный землевладелец, активный общественный деятель времени после отмены крепостного права в России) Худеков предстаёт в данном издании на поприще литературы и искусства, которым был глубоко предан.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ББК 85.334

ISBN 978-5-902420-17-0

© Издатель Ситников, 2007

© Никишкин Э.Н., идея проекта,  
источники и литература, 2007

© Красногорская И.К., текст, 2007

© Ситников К.Н., оформление, 2007

© Полищук Т.С., художник, 2007

*Разработчики проекта выражают глубокую признательность  
Л.В. Анфиловой, Е.Е. Гагиной, Л.Д. Гончаровой, С.А. Зуевой,  
Л.Д. Любачевской, Т.Б. Синяевой, Т.Н. Цукановой  
за помощь при сборе материала.*



## От редактора

**И**мея как редактор непосредственное отношение и к первой книге Ирины Красногорской о С.Н. Худекове «Тень Никии в Ерлинском парке», я могу вслед за автором, высказавшимся в одном из своих интервью, подтвердить, что, если «Никия» является эскизом к портрету одного человека, где кропотливо собранные подлинные факты переплетаются и соединяются с догадками и художественным вымыслом, данная книга, густо насыщенная фрагментами мемуарной литературы, повествует не столько о Худекове, сколько о связанных с ним людях. Поскольку же круг интересов Сергея Николаевича был очень широк, а в книге идёт речь о доерлинском периоде его жизни, когда он серьёзно занимался искусством и литературой, то перед читателем предстаёт довольно ёмкий пласт жизни российской культуры второй половины XIX века.

Со школьных лет мы знаем, кто жил и творил в эту пору: Тургенев, Толстой, Чехов, Ермолова, Шаляпин, Павлова... Были деятели и вроде бы рангом ниже: Лесков, Суворин, Лейкин... Были и совсем неведомые нам: до недавних пор сам Сергей Николаевич Худеков. И вот теперь он людям XXI века, как ключик, открывает немало достойных внимания имён.

Благодаря ему у читателей есть возможность проверить и, может быть, изменить свои оценки, впечатления по поводу некоторых известных «величин» (имею ввиду прежде всего писателя Лескова, журналиста и издателя Суворина).

Культурный пласт, представленный в книге, воспринимается как полноценный, почвенный. Здесь, так сказать, и стебли-травинки, и корешки-сплетения...

Оказывается, многие известные люди знали между собою. Ниточка между известными именами протягивается, бывает, через людей неизвестных... Например, читатель встретит в этой книге имя Жоржа Дантеса. Какое отношение он имеет к окружению Худекова? А вот узнайте...

Соприкосновение имён, скрещивание событий, судеб – в этом главная занимательность книги. А сколько открытий!

Что общего между известным русским актёром, красавцем и любимцем публики Александром Ленским и философом-отшельником Фёдоровым? Откуда, кто придумал так часто повторяемое нами при случае выражение «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь»? Читайте и узнавайте.

А тайны тогдашних «звёзд» драмы и балета? Думаете, они были менее душещипательными, чем «сокровения» и откровения нынешних «звёзд» кино и телевидения?

В то же время книга, которая лежит перед вами, очень познавательная. Как журналист я узнала много интересного и полезного о положении тогдашней прессы, никогда не бывавшей до конца свободной, о «кухне» и нравах нашей пишущей братии.

Прелюбопытная получилась книга об этом самом «Фигаро» и его времени.

И автор, и его друзья-единомышленники потрудились на славу.

Татьяна Банникова,  
член Союза журналистов России.

## Нить шелкопряда

**З**а окном зима, наконец-то, празднично новогодняя: вдоль дороги с одной и с другой стороны сугробы, и на крыше соседнего дома сугроб, метровый. И этот одноэтажный обычно неказистый дом стал похож на те, что в старину изображали на рождественских открытках, приобрёл пасторальную привлекательность. Вьётся над его трубой прозрачный весёлый дымок, и чудится, будто топится в одной из комнат камин или уютная печь, а не трудится на кухне газовая плита с четырьмя конфорками. Сверкают в солнечном свете редкие блёстки невесть откуда летящего снега – небо безоблачное, бездонное.

День, судя по этим признакам, там, за окном, прекрасный, и полуденный морозец не помеха тому, чтобы прогуляться у пруда, а то и пройти дальше, к лесу. Но я сижу на заслуженном диване, обложившись книгами, копиями архивных документов и не могу от них оторваться и чувствую себя прожорливой гусеницей шелкопряда, которой необходимо грызть, грызть тутовые листья, чтобы тянулась, не обрываясь, тонюсенькая шёлковая нить.

«Я чайка, я чайка!» – восклицала героиня известной чеховской пьесы. Героиня пьесы Островского жалела, что не может летать, как птица. А я вот сравниваю себя с более прозаическим и рациональным созданием – всего-навсего гусеницей... Но не той вольной, что по весне объедает деревья, оплетает их ставшие безобразно голыми ветки серыми нитями, которые шёлковыми назвать никому в голову не придёт. Я отождествляю себя с так называемой одомашненной гусеницей шелкопряда, которую кормят отборными, свежими листьями тутового дерева и регулярно доставляют их ей к столу в надежде получить от неё дорогой продукт.

Шёлкопрядение – дело коллективное, как, впрочем, и большинство стоящих дел. Кто-то тратит силы и немалые деньги, чтобы прокормить ненасытное существо, а оно хрумкает, хрумкает листья, и неизвестно, что из этого хрумканья – хруста получится... Китайцы



вроде бы научились делать шёлковую ткань ещё пять тысяч лет назад. Естественно, была она неимоверно дорогой. Археологи, извлёкшие из богатого захоронения мумию так называемой алтайской принцессы, обнаружили, что шёлковая кофточка на ней заштопана... В России собственный шёлк появился при Петре I, но в начале XX века всё ещё 80 процентов шёлка-сырца ввозилось из-за границы, что, конечно, не способствовало снижению стоимости прекрасной ткани. Энтузиасты-предприниматели пытались это положение изменить, то есть хотели сделать дорогой продукт дешёвым. Среди них случались и одиночки, наивные авантюристы, каким был, например, мой дед Никита Ксенофонович, сельский священник. В глуши черниговских приходов в свободное от служб время он активно поддерживал разные общественные начинания: сажал леса, закладывал общественные сады, участвовал в борьбе с пьянством. Боролся с «зелёным змием», надо заметить, он вовсе себе не в ущерб, поскольку был абсолютным трезвенником. Должно быть, индивидуальное шелководство тоже являлось одной из общественных кампаний. Едва ли бы он решился на такую авантюру по собственной инициативе. Наверное, кампания эта пришлась на 10–20 годы XX века: в это время как раз у деда на подворье был дармовой корм для гусениц: на фотографии 14-го года он с семейством запечатлён под могучими шелковицами, тутовыми деревьями.

Ничего путного из очередного начинания деда не вышло. И узнала о нём я только потому, что однажды в бабушкиной коробке для рукоделия среди разномастных и разнокалиберных пуговиц, катушек, напёрстков и окостеневших мелков обнаружила нечто лёгкое, овальное, светло-бежевое или грязно-жёлтое – кокон. Благодаря этой случайной находке я познакомилась с примитивным домашним способом получения шёлковой нити. А память о небольшом мягком комочке дала мне повод прибегнуть к мало поэтичному сравнению.

Дело в том, что меня действительно потчуют... редкими книжными изданиями, копиями архивных документов, выписками из них мои друзья-единомышленники, живущие в Москве. Они, не литераторы, в столице тратят время и силы на поиск этих материалов и немалые деньги на приобретение их. Я же должна тянуть шёлковую нить нового повествования.

Больше года назад вышла моя книга «Тень Никии в Ерлинском парке» о замечательном и незаслуженно забытом россияnine Сергее Николаевиче Худекове, издателе-редакторе «Петербургской газеты», журналисте, писателе, историке балета и незаурядном хозяйственнике, создателе парков-дендрариев в селе Ерлино ныне Кораблинского района Рязанской области и в Сочи. Книга познакомила меня с людьми, которых заинтересовала личность Худекова, и они тоже стали собирать

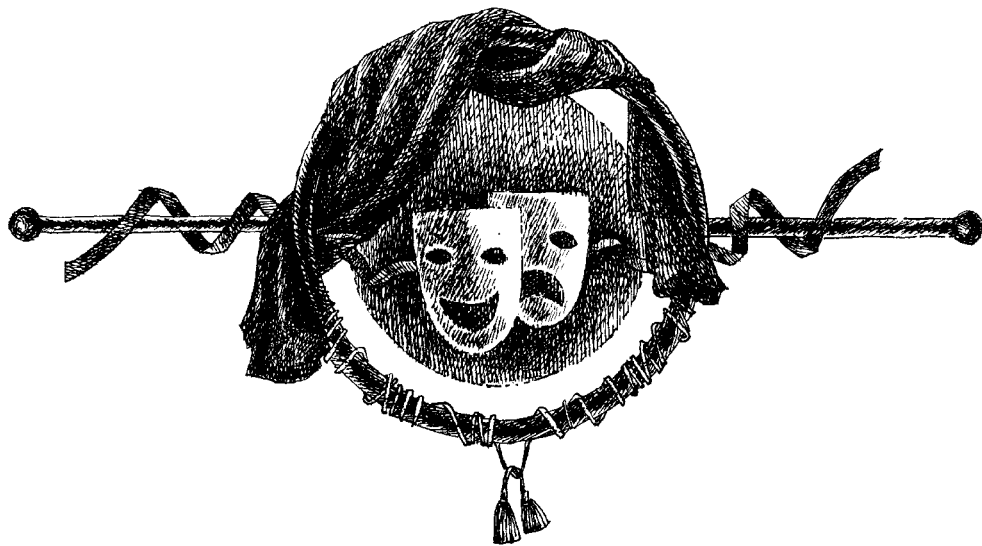
о нём информацию. Обнаружились новые, прежде не известные мне сведения, которые показали, как много сделал этот человек для развития театрального искусства и журналистики в России, как широк был круг его знакомых, каким авторитетом пользовался он в театральном и журналистском мире. Увидев это мои, московские друзья-единомышленники и я решили рассказать о петербургском периоде жизни Худекова до начала XX века, когда его очень многое интересовало, а главное – он с поразительной лёгкостью успевал реализовать свои задумки, чему порой удивлялся сам. Недаром же одним из его псевдонимов было имя севильского цирюльника Фигаро. Решили рассказать о людях, которые составляли его окружение, звёздное окружение, да так и назвать книгу «Петербургский Фигаро и его звёздное окружение. Из истории русского театра и журналистики XIX века».

Повторю: не литераторы заинтересовались темой, почувствовали вкус к исследовательской работе, без которой немислимо ни одно литературное произведение о далёком прошлом, если, конечно, оно не фэнтези. По сути дела, они мои соавторы. Однако... Однако кипеть в котле критики, куда в качестве жгучей приправы может попасть и недовольство моих помощников, всё-таки одной мне. Такова участь одомашненного шелкопряда. Таков печальный финал получения шёлковой нити.

Я смирилась со своей ролью, точнее безропотно приняла её, поскольку, видимо, она predeterminedена мне судьбою. Много-много лет назад, передавая своим домашним школьные новости, я сказала, что в классе появился новичок Худеков. «Худеков? – неожиданно удивился отец. – Уж не отпрыск ли он миллионера Худекова, у которого твой дед выписывал саженцы?» Я не стала выяснять у новичка, «отпрыск» он или нет, и про миллионера забыла на долгие годы, и давно уже не у кого спросить, что это были за саженцы, почему их надо было выписывать из Рязанской губернии в Черниговскую. Да были ли они? «Да был ли мальчик?» По крайней мере, моя соученица вспомнить его не смогла. Я бы тоже, наверное, не вспомнила, если бы не его однофамилец.

Но как бы то ни было, я начинаю тянуть тоненькую-тоненькую шелковинку между прошлым и настоящим. Перебираю, тасую скопившиеся у меня копии документов, характеризующие Сергея Николаевича Худекова как человека, связанного своим творчеством с литературой и театром. Пытаюсь разгадать их смысл, расширить их содержание.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



## Служители Мельпомены и Талии



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### Тайна старой записки

**И**режде всего, меня заинтересовали эпистолярные документы. По ним при крайне редком и скупом упоминании Худекова в мемуарной литературе можно если не воссоздать его жизнь, то хотя бы установить шире, конкретнее область его интересов, масштаб личности, определяемый не только тугим кошельком: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

Эпистолярных документов в описях Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) оказалось более восьмидесяти. Фамилии многих корреспондентов Худекова мне, как и моим друзьям-помощникам, не были известны. Пришлось по разным справочникам устанавливать, «кто есть кто». Списки корреспондентов постепенно обрастали характеристиками-комментариями. А перед тем были сделаны копии писем, фамилии авторов которых до сих пор на слуху: Лесков, Шаляпин, Петипа, Маковский, Немирович-Данченко, Танеев. С запиской последнего я едва не попала впросак. Написана она на визитной карточке без указания даты. Работники РГАЛИ относят её к 90-ым годам XIX века. Вот её текст:

*С крайним сожалением должен отказаться от сегодняшнего визита, ввиду того, что поздно извещён о возвращении многоуважаемого Сергея Николаевича – обещал быть у А.И. Михайлова. С будущей же субботы начнём свои посещения аккуратно. Может быть, не поиграем ли завтра 2 октября ввиду Воскресного дня? Если да то неос[тавьте] уведомлением.*

Первое, что мне вспомнилось в связи с фамилией визитёра и инициалом его имени «С»: Сергей Танеев – известный композитор и музыкант. Одно время был директором Московской консерватории, кажется, самым молодым за всю историю её существования, входил в круг близких знакомых Льва Николаевича Толстого и его жены Софьи Андреевны и... Тут память подбросила пикантную подробность, относящуюся к

этому знакомству: благодаря ему композитор получил скандальную известность даже среди тех, кто к музыке никакого отношения не имел. Толстой приревновал к нему жену, которая, на его взгляд, подозрительно часто музицировала с молодым человеком. Разгневанный ревнивец муж отказал Танееву от дома. Талантливый писатель Толстой поспешил написать на основании этой семейной истории повесть «Крейцера соната», посвящённую теме чувственной любви. В 90-е годы XIX века ею зачитывались тайно молодые дамы и девушки, одни пряча книгу от мужей, другие – от родителей.

Имея в виду любовь композитора к домашнему музицированию и то, что с середины 80-х годов Худековы устроили у себя нечто вроде салона, получившего в истории литературы название «субботы Худекова», я предположила, что Танеев с кем-то из хозяев дома играет на фортепиано «в четыре руки».

Смущала меня только некая привязанность автора записки к месту пребывания, вероятнее всего, Петербургу, куда же ещё мог возвратиться «многоуважаемый Сергей Николаевич», в то время, как композитор бывал в столице лишь наездами. Да и уточнить надо было, когда написана «Крейцера соната», как некое писательское предвидение до семейного скандала, получившего почему-то большую огласку, или после него. Принялась уточнять, и – рухнули все мои предположения. Композитор записки Худекову не писал, с визитом к нему не собирался. Звали его Сергей Иванович, и значит, его инициалы «С.И.», а не «С.В.», как у автора записки. И относительно композитора С.И. Танеева и Худекова можно лишь предположить, что они могли быть знакомы и, безусловно, знали друг о друге, поскольку были людьми известными, к тому же, имели общих знакомых Я.П. Полонского, П.Д. Боборыкина, М.И. Петипа.

Выяснилось: отказывался от визита дальний родственник композитора, который дважды вскользь упоминается в дневнике последнего 1899–1902 годов: «Г. Викулин... пишет историю своего рода и в дальнем родстве с С.В. Танеевым», «Ехал с г. Кондратовым, племянники которого, Вишняковы, женаты на дочерях С.В. Танеева». Сергей Васильевич Танеев – известный театральный предприниматель конца XIX века, возглавлявший Общедоступный театр в Москве, возивший русских актёров в Париж. В конце 70-х – начале 80-х годов он держал антрепризу в Павловске под Петербургом. С Павловска я и начну, придерживаясь ассоциативных представлений, повествование о звёздном окружении Худекова, поскольку именно оттуда стартовали в столицу будущие звёздные величины литературы и драматического искусства, там проникались они творческим духом.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### «Беспосредственный» город

Сейчас Павловск – прелестный дачный город. Летом 2004 года я прожила в нём неделю. Гуляла по бесконечным аллеям всемирно известного парка; любовалась его архитектурным ансамблем, над созданием которого потрудились знаменитые архитекторы начала XIX века Д. Кваренги, Т. де Томон, А.И. Воронихин, К.И. Росси; восхищалась парковыми скульптурами; сидела на скамейке близ Розового павильона; сокрушалась, что исчезли из парка весёлые полуручные белки, которые лет пятнадцать назад одолевали посетителей, выключившая лакомства. Вспоминала Сергея Николаевича Худекова, обнаруживая в парке редкие деревья, аналогичные его усадебным в Ерлине. В частности, плакучую ель. Предположила даже, что выросшая на рязанской земле – прямой потомок ели павловской: подобрал Худеков экзотическую шишку и посеял её семена в питомнике своего имени. Я тогда не подумала, что Худекова с Павловском могут связывать не только ботанические и архитектурные интересы. И лишь записка С.В. Танеева заставила установить и проанализировать связь иную, театрально-литературную.

Приезжать в Павловск Худеков стал в начале 60-х годов, когда его назначили старшим адъютантом в Управление генерал-инспектора кавалерии.

Павловск, «беспосредственный» город, бывшая резиденция не столько несчастного императора, чьё имя он носил, сколько его супруги Марии Фёдоровны, в то время был одним из самых посещаемых летом пригородов Петербурга. И трудно было уже представить жителям его и гостям, что менее века назад на месте парка простирался дремучий бор – любимое, однако не принадлежащее ему, охотничье угодье Павла Петровича, тогда ещё наследника, всё ещё наследника императрицы Екатерины II. Когда у него в 1777 году появился собственный наследник, счастливая бабушка в ознаменование этого события одарила Павла

Петровича этим самым бором. А он, благодарный, чтобы увековечить проявление монаршей и материнской милости, воздвиг на берегу бегущей через бор Славянки обелиск. Под благовидным предлогом застолбил, так сказать, участок. Обелиски были усадебной модой, символом жизнедеятельности, с их возведения начиналось строительство в усадьбах.

Постепенно бор превращался в прекрасный парк, заполнялся разного рода сооружениями. Особенно быстро они стали возводиться



*Павловск. Часть парка*

после смерти Екатерины II. Скромная Мария Фёдоровна почувствовала себя в Павловске полной хозяйкой: супруг уступил ей на это поместье полные права, так как сам навеки привязался к Гатчине, и она устроила в новом поместье всё по собственному вкусу. Часто посещавший бывшую резиденцию Марии Фёдоровны современник Худекова инженер Арнольд Регель, будущий президент Императорского Российского общества садоводства, автор фундаментального труда «Изящное садоводство и художественные сады», отмечал в нём: «Павловск почти весь создан из воспоминаний детства и отрочества Императрицы, да ещё из впечатлений путешествия по Франции, Германии, Швейцарии. <...> Павловские старожилы помнят мало блестящих фейерверков и пышных торжеств, устраиваемых Императрицей, но не забыли они о



радушной, приветливой Хозяйке, угощавшей всех без разбора и позволявшей каждому посетителю гулять где угодно, с уговором не рвать цветов и не мять травы». Посетителем же мог оказаться кто угодно. Эту льготу – свободно посещать загородные парки особ царской фамилии – предоставил согражданам ещё Пётр I, оговорив лишь указом «не пускать матросов, господских ливрейных лакеев, подлого народа, а также у кого волосы не убраны, у кого платки на шее, кто в больших сапогах и серых кафтанах».



*Павловск. Памятник Основания*

При Марии Фёдоровне, случалось, по аллеям разгуливали даже крестьянки, впрочем, они могли быть работницами усадебной молочной фермы императрицы. А уж для людей искусства не было ограничений. Литераторы и музыканты облюбовали так называемый Розовый павильон. По сведениям Регеля, он был возведён по приказу Марии Фёдоровны в 1814 году в течение нескольких дней к приезду сына, тогда уже императора и победителя Наполеона Александра I. По другим данным, этот павильон был построен архитектором А.Н. Ворониным как здание дачи военного коменданта Павловска П.Р. Багратиона и тем же Ворониным в 1811 году перестроен для размещения в нём музыкально-поэтического салона Марии Фёдоровны. Но так или иначе, Розовым он назывался

не по цвету, а оттого, что снаружи был обсажен кустами роз, а внутри лепные розы украшали карнизы, вились вокруг люстр.

Из маститых писателей в нём побывали Жуковский, Гнедич и Крылов, а немаститым несть числа, никто их не учитывал. Среди этих немаститых вполне мог быть и красивый, высокий молодой ротмистр, участник Крымской войны, кавалер светло-бронзовой медали на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 годов Сергей Николаевич Худеков. Возможно, и он оставил запись в одном из памятных альбомов, положенных для посетителей в Розовом павильоне. Но одни посетители писали, другие, бывало, вырывали из альбомов листки. Регель сообщает, что императрица Мария Фёдоровна сама однажды вырвала листок с басней Ивана Андреевича Крылова «Василёк»:

В глуши расцветший Василёк  
Вдруг захирел, завял почти до половины  
И, голову склоня на стебелёк,  
Уныло ждал своей кончины...

Но при этом, надо заметить, всё-таки надеялся, что не всё ещё потеряно: может быть, его оживит поутру поднявшееся солнце. Так и случилось, несмотря на скептицизм некоего Жука, безжалостно пророчившего и советовавшего Васильку:

«Поверь, что на тебя оно луча не бросит,  
И добиваться ты пустого перестань,  
Молчи и вянь!»

Хорошенький совет! Преисполненный мудрой житейской уверенности, что светило не снизойдёт до безродного, скромного цветка, да и не должно этого делать – по рангу не положено.

Разумеется, баснописец точку зрения разумного Жука не разделял, и басня написана ради призыва-обращения к людям сановным, в чьей власти изменить жизнь подданных:

О вы, кому в удел судьбою дан  
Высокий сан!  
Вы с солнца моего пример себе берите!  
Смотрите:  
Куда лишь луч его достанет, там оно  
Былинке ль, кедру ли – благотворит равно  
И радость по себе и счастье оставляет;  
Зато и вид его горит во всех сердцах,

Как чистый луч в восточных хрусталях,  
И всё его благословляет.

Мария Фёдоровна подарила листок с басней сыну-императору как назидание.

Крылов был не одинок в своём желании повернуть вельмож лицом к простому люду. И следующее за ним и его сверстниками поколение русских писателей задалось той же целью, ещё ярче выраженной, поскольку в литературу пришли разночинцы, знающие почём фунт лиха. Основной идеей их произведений стал протест против социальной несправедливости, а творческим кредо строчки стихов рязанки Надежды Хвощинской:

Я отдам слезу и сожаленье  
Тому, кто, наклонясь под игом и трудом,  
Клянёт и труд, и жизнь, и разум, и терпенье:  
Малютке бедному в лохмотьях под окном...

А вот молодой литератор Сергей Худеков начал оттачивать своё перо на иных темах. Его интересовало искусство как предмет, достойный литературного освещения. Ещё в детстве, живя в Москве, где и родился, он полюбил театр и всё то, что составляло театральную суть: музыку, драму, балет, живопись.

В культурном отношении Москва первой половины XIX века не уступала столице, а театральными, драматическими силами, даже превосходила её. Спектакли в Москве шли в двух театрах попеременно, Большом и Малом. Русское театральное искусство в то время бурно развивалось, охватывая как сценическое исполнение, так и драматическую литературу. Актёры и драматурги всё больше и больше склонялись к «жизненной естественности», всё больше сокращался разрыв между происходящим на сцене и в жизни. Молодёжь с восторгом принимала эти новшества и отождествляла их исключительно с актёрами, которых охотно и поспешно делала своими кумирами.

До поступления на военную службу (в начале Крымской войны Худеков определился добровольцем в Ряжский пехотный полк, не достигнув семнадцати лет) он успел увидеть игру тогдашних московских знаменитостей, корифея Щепкина и актёров нового поколения Садовского, Сергея Васильева, Полтавцева.

Михаил Семёнович Щепкин был уже не молод, и юные театралы восторгались его исполнением ролей городничего в «Ревизоре» и Фамусова в «Горе от ума» скорее по традиции, потому что принято поклоняться знаменитостям, встречать одно лишь появление их на сцене аплодисментами, не судить их строго за профессиональные промахи.

Так, несколько мемуаристов, видевших игру старика Щепкина, с одинаковой любовной снисходительностью вспоминают и старческую чувствительность корифея, граничащую со слезливостью, и то, как выпадала у него совсем не к месту, во время спектакля, вставная чёлость, и тут же приходят к одному мнению. В формулировке писателя Петра Дмитриевича Боборыкина оно выражено так: «Для меня, юноши из провинции, воспитанного в барской среде, да и для всех москвичей и иногородних из сколько-нибудь образованных сфер, Щепкин был национальной славой». Особое почтительное отношение к Щепкину сложилось ещё и потому, что театралы знали о его дружбе с Гоголем и другими видными писателями.

Из актёров нового поколения успехом у молодёжи пользовался красавец Полтавцев, хотя знатоки находили его игру в роли Чацкого не достаточно убедительной. Но на юных сторонников решительных действий такие «мелочи» не влияли: они видели в Полтавцеве, прежде всего, натуру романтическую, героя не только на сцене, но и в жизни. Даже имя его «Корнелий» звучало романтично, а чего стоила история женитьбы – прямо сюжет какого-нибудь зарубежного рыцарского романа или, на худой конец, страницы из пушкинской «Метели». Сама же история вкратце передавалась примерно так: меценат и организатор первого драматического театра в Одессе князь Павел Иванович Гагарин набирал труппу и пригласил в неё молодого Полтавцева, тогда выпускника московского театрального училища. Но дела в гагаринском театре шли плохо, труппа распалась. Полтавцев вернулся в Москву и тайно увёз с собой свою возлюбленную, дочь князя. То, что девушка была незаконнорождённой и сама в ту пору уже играла на сцене, только придавало любовной истории остроты. Не могла она оставить равнодушным такого слушателя, как юный Сергей Худеков. Романтическая направленность его характера прослеживалась с отроческих лет, только близкие считали её проявлением легкомыслия, затянувшимся ребячеством, которое к хорошему не приведёт. Узнав, что Сергей вслед за старшими братьями добровольно поступил на военную службу, один из них, Василий, писал родителям:

«Серёжа расстроил всё моё хорошее расположение. Бог знает, что с ним будет в военной службе. Взглянуть на будущее страшно: теперь он попадёт под две крайности: или совершенно исправится, или сделается совершенным негодяем; хорошо, если бы сдать его на руки старому строгому ротному командиру и при том службисту, он бы не дал ему времени баловаться и отвлекал бы его от юнкерского общества, где бездна пьяниц, развратников, мотов, картёжников и даже воров, а Серёженька по своей легкомысленности сейчас сведёт самое обширное знакомство, последствия которого могут быть очень плохи».

Военная служба не испортила Сергея, «совершенным негодяем» он не сделался и, скорее всего, пройдя в юные годы Крымскую войну, хоть и в запасном батальоне, совершенно исправился: за шесть – семь лет достиг чина ротмистра и был назначен старшим адъютантом в Управление генерал-инспектора кавалерии. Назначение на службу в Петербург порадовало его, прежде всего, тем, что появилась возможность посещать театры как в столице, так и в её пригородах. Любовь его к театру за годы службы окрепла, заслонила увлечения, на которые были падки сверстники его круга, – скачки, игру в карты, холостяцкие пирушки, – и стимулировало новое – «сочинительство», как тогда называли литературную деятельность.

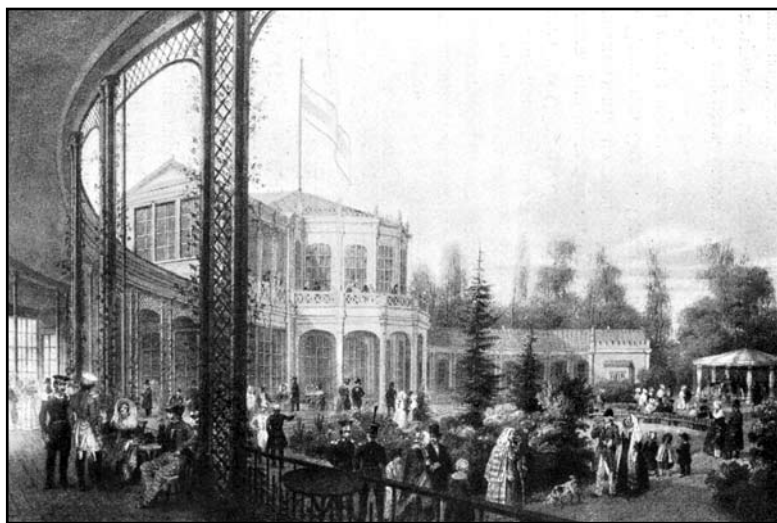
Самым популярным пригородом Петербурга был Павловск. Очень повлияло на судьбу города строительство первой в России железной дороги, которая как раз соединила его со столицей. Движение открылось 30 октября 1837 года, почти за месяц до рождения Худекова. (Он родился «ноября двадцать восьмого у Николая Матвеевича и жены его Александры Васильевны... крещён 1 декабря, восприемники губернский секретарь Илья Васильевич Повалишин и жена отставного штабс-капитана Елизавета Матвеевна Наумова».) Судя по отчеству, Елизавета Матвеевна была тёткой своего крестника, но не буду затягивать отступления.

Первая железная дорога строилась по проекту чешского инженера Франца Герстнера. Ему же принадлежала идея создания на конечной станции в Павловске так называемого Вокзала (проект архитектора А.И. Штакеншнейдера) – здания коммерческого назначения для увеселений с рестораном и концертным залом – позднее вокзалами стали именоваться все главные станционные здания.

Местность вокруг парка начала интенсивно застраиваться, превращаться в престижное дачное поселение. Новые постройки разрушили целостность бывшего архитектурного ансамбля Павловска, да и железную дорогу проложили прямо через парк, вблизи от Круглого зала, камерного предтечи Вокзала, но хозяев усадьбы, потомков Марии Фёдоровны, это не волновало. Они были людьми иного склада и хотели получать от поместья деньги, а не вкладывать в него, а потому сдавали в аренду земельные участки парка, что портило его первоначальный вид. Старожилы сетовали, вспоминали с грустью Марию Фёдоровну, не допустила бы де она подобного, забывая, что после гибели мужа императрица охладела к Павловску и уделяла внимание его любимой Гатчине. Но коротка и избирательна людская память, а потому из уст в уста передавалось обращение Марии Фёдоровны к матерям воинов, отправлявшихся сражаться с Наполеоном, словно только-только она

произнесла эти слова с галереи Павловского дворца: «Бог милостив! Вернутся!»

А между тем «поезд времени» давно ушёл. Мария Фёдоровна умерла в 1824 году, и наступали 40-е годы, с иными понятиями о музыкальной культуре, становившейся массовой. Популярность приобрели московские цыгане. «В Павловске допевала свои «соловьиные песни» знаменитая пушкинская Таня, а во главе хора, с гитарой в руках, стоял



*Вокзал в Павловске*

не менее знаменитый «хоровод» Илья Соколов, в то время уже 72-летний старик», — сообщает некто Н. Б. в статье «Павловский вокзал», опубликованной журналом «Столица и усадьба» в 1915 году.

В начале 60-х годов вкусы павловской публики сделали новый поворот: от лёгкой танцевальной музыки к попури из отрывков произведений Бетховена, Глинки, Вагнера, популярных опер и оперетт. И в какой-то степени этому способствовал скандал, учинённый поклонниками «короля вальсов» Иоганна Штрауса. Он дирижировал павловскими летними концертами с 1856 по 1865 год и стал кумиром публики, съезжавшейся в город, чтобы насладиться его волшебной музыкой. Маэстро так свыкся с ролью всеобщего любимца, особенно, конечно, дам, что стал пренебрегать вниманием слушателей, и в один прекрасный вечер это привело к неслыханно большому скандалу. Вот

как описывает его очевидец и знакомец Худекова Константин Скальковский :

«Публика вызывала Штрауса, а он, помахав палочкой и потанцевав на месте под звуки собственных вальсов в одном отделении, уехал в Петербург. Штраус, понятно, не выходил на вызовы, а вместо его являлись надоевшие почему-то в это лето публике какие-то беарнские певцы. Публика, неистово возбуждённая собственными криками, бросилась на сцену, прогнала палками и зонтиками злополучных беарнцев и изломала инструменты оркестра. Затем огромная толпа повалила к даче, где жил Штраус.

Быстро была принесена лестница к балкону, какой-то господин в форме влез по ней в квартиру дамского кумира и выбрасывал оттуда вещи и мебель, которые публика, приличная по туалету, тут же рвала и ломала. Вот они табунные свойства русского человека».

Не хочется думать, что в этой разбушевавшейся толпе был Худеков, тем паче, предположить, что он, господин в форме, швырял мебель с балкона.

После погрома Штраус покинул Россию и вернулся только через несколько лет. Но павловские концерты в его отсутствие не прекратились, а публика, подобная той, что в наше время зовётся средним классом, стала приобщаться к серьёзной симфонической музыке. И новые её вкусы, новая мода выдвинули соответствующего им кумира. Приехал из-за границы, где с большим успехом концертировал несколько лет, пианист, композитор и дирижёр Антон Рубинштейн. Молодой ещё человек, он, тем не менее, имел значительный опыт концертной деятельности, т. к. впервые выступил как исполнитель в Москве десятилетним мальчиком. Потом этот вундеркинд, сын торговца, в течение нескольких лет изумлял и умилял искушённую публику европейских городов своей не по-детски серьёзной профессиональной игрой. Для российских же меломанов очень убедительной мерой его одарённости явилось то, что за границей его исполнительскую манеру приняли и высоко оценили такие известные музыканты, как Феликс Мендельсон и Ференц Лист. Но и на самом деле Антон Рубинштейн «был уже несравненный, никем не превзойдённый, после Листа, виртуоз, который принадлежал Петербургу более, чем какому-либо городу Европы, несмотря на его всемирную славу и огромные связи с Западом, особенно с музыкальной Германией. ...На эстраде он держал себя тогда с полной непринуждённостью, как и впоследствии, шёл к роялю небрежно, без всякой приятной усмешки, своеобразно кивая головой, трясая своей шевелюрой, и ударял по клавишам так, как бы он делал у себя в рабочем кабинете, и не во фраке и в белом галстуке, а в халате. Всё это можно было объяснить двояко: или простотой его

натуры и хорошим равнодушием к своим успехам виртуоза, или как своего рода рисовку, «генеральство», пренебрежение к публике и ко всему на свете. Однако было несомненно для всякого мало-мальски наблюдательного человека: этот кумир концертной залы не может банально упиваться своими успехами...»

Очень жаль, но эта характеристика знаменитого музыканта принадлежит не Сергею Худекову, а его собрату по литературному творчеству, уже упоминавшемуся Петру Боборыкину, который тоже начинал писать в 60-е годы, но в то время был куда успешнее. Однако придёт время, и Худеков станет известен прославленному музыканту как издатель-редактор популярной «Петербургской газеты», публикующей материалы по искусству, публичный человек. А.Г. Рубинштейн попадёт даже в некоторую зависимость от газеты и вынужден будет обращаться к редактору. Сохранилось письмо художественного руководителя Итальянской оперы А. Вицентини, иллюстрирующее эту зависимость. Газета поместила статью, где говорилось, что Рубинштейн не доволен итальянскими хористами, с которыми разучивал хоры из своей оперы «Нерон» и обратился в Русское музыкальное общество. «Всё это не соответствует действительности. Г-н Рубинштейн всегда отзывался с похвалой об усердии и добросовестности хористов Итальянской оперы...», – уверял на французском языке Худекова Вицентини и просил опубликовать поправку. В конце письма Рубинштейн сделал приписку по-русски: «Совершенно согласен с содержанием сего письма». Едва ли это единственное его обращение к Худекову.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### «Весна жизни»

У молодого ротмистра не было таких литературных и светских связей, как у Боборыкина, который переехал в Петербург в 1861 году и тоже не примкнул к общественной борьбе молодых литераторов, недовольных результатами крестьянской реформы и политикой правительства. Эта литературная среда его не интересовала. «Я не метил в революционеры, — объясняет он в книге «За полвека», — и не уходил ещё в вопросы социальные, не увлекался теориями западных искателей общественного Эльдарадо». Худекова же молодые вольнодумцы скорее всего в свою среду не приняли: едва ли мог им внушить доверие литератор, опубликовавший в 1858 году в Драматическом сборнике комедию «Женщина-дипломат», да ещё в подражание комедии французской, и там же, тремя годами позже, «Русские в Эмсе, или Женские слезы», опять-таки комедию и опять-таки подражание. Слезы в драматическом произведении могли присутствовать, только литься они, по мнению этих вольнодумцев, должны были преимущественно из глаз «малютки бедного» или какой-нибудь обездоленной крестьянки.

Конец 50-х — начало 60-х годов те, кто знал эту пору не понаслышке, называли «весной жизни». «Шестидесятые годы можно назвать весной нашей жизни, эпохой расцвета духовных сил и общественных идеалов, временем горячих стремлений к свету и к новой, неизведанной еще общественной деятельности. <...> ...для полного понимания шестидесятых годов необходимо знать, как начал складываться новый порядок вещей, как распадались некоторые старые формы жизни и постепенно складывались иные основы общественности, вырабатывались новые принципы, как охватило русских людей лихорадочное движение вперед, как страстно стремилась молодёжь к самообразованию и просвещению народа, какую непреклонную решимость выражала она, чтобы сразу стряхнуть с себя ветхого человека и сделать счастливыми всех

нуждающихся и обременённых. Такое небывалое до тех пор стремление общества к нравственному и умственному обновлению имело громадное влияние на изменение всего мирозерцания русских людей, а вместе с тем и на многие явления жизни...», – вспоминает в книге «На заре жизни» очевидица того времени писательница Е.Н. Водовозова.

Это время словно переключается с тем недолгим периодом 60-х годов XX века, какой советские люди наблюдали, точнее, в каком жили и который потом называли «оттепелью». Как известно, особенно отличившихся деятелей его, преимущественно в области искусства, впоследствии нарекли «шестидесятниками».

Как человек, заставший ту пору, не могу не отметить, что уровень «дозволенности» у «шестидесятников» XIX века был несколько выше, чем у их потомков через сто лет. Царская цензура, не в пример советской, была более лояльной и на многие литературные и сценические вольности закрывала глаза. Просматривала недавно произведения Успенского, Решетникова, Салтыкова-Щедрина, хрестоматийного Некрасова и думала: во времена моей юности, да и вплоть до перестройки подобные выпады против власти, откровенная критика государственного аппарата, государственного устройства не прошли бы, не прошли.

Помню, какой шок у читателей вызвали забытый теперь роман М. Дудинцева «Не хлебом единым» и повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисыча», в общем-то, безобидные произведения. И их публикация была сопряжена с риском и немалыми усилиями редакторов и издателей. Говорили, что печатать роман Дудинцева разрешил сам Н.С. Хрущёв, тогда генсек. А ведь речь в романе шла всего-навсего об изобретателе, сражавшемся с бюрократами, ставившими палки в колёса на его изобретательском пути. Был там, помнится, ещё эпизод, ничего нового, впрочем, читателю не открывавший: жену одного крупного начальника, в порядке исключения, то есть признания заслуг её мужа, поместили в отдельную больничную палату. Но из-за этих пустяков советские цензоры без указания свыше не рискнули пропустить роман в печать.

Судьба Солженицына всем хорошо известна, поэтому не буду на ней останавливаться.

Да и молодые советские апологеты демократии Аксёнов, Кузнецов, Войнович были куда терпимее тех юношей с горящими взорами, которые «кучковались» у «Современника». Во главе журнала стоял тогда преисполненный демократического духа и революционных идей Н.А. Некрасов. Его устремления и взгляды, которые долгое время неизменно связывались с идеалами общества, не помешали ему, однако, прибрать к рукам журнал И.И. Панаева, его щегольскую коляску и

жену-красавицу Авдотью Яковлевну, да ещё и зажить под одной крышей с обездоленным. В соавторстве с Авдотьей Яковлевной он написал скучные, но, по оценке советских литературоведов, «проникнутые демократическим настроением» романы «Три страны света» и «Мёртвое озеро». Видимо, из-за недостаточной художественности романы эти не были включены в школьную программу, то есть знать о них могли лишь единицы школьников. Поэтому-то о них расспрашивали на собеседовании выпускников-медалистов, пытавшихся поступить в очень престижный в 50-е годы XX века Московский авиационный технологический институт. Я была в числе абитуриентов, и случайное знание этих двух слабых романов открыло мне дорогу к самолётостроению.

Да здравствует Некрасов!

Если забыть то, как он поступил со своим бывшим благодетелем Панаевым, который когда-то помог ему выбраться из нищеты (впрочем, их современники считали, что Панаев сам виноват), если не считать чрезмерного увлечения Некрасова картами, то ни в чём предосудительном классик больше не был замечен. Он, действительно, очень много и плодотворно работал как редактор и издатель «Современника», а для этой деятельности одного литературного дара мало. Были у него практицизм, хватка и сметливость, недаром же симпатизировавший ему Белинский предрекал: «Некрасов пойдёт далеко... Это не то, что мы... Он наживёт себе капитал!» Некрасов нажил себе ещё и славу классика. В начале 60-х годов он приобрёл известность поэта, углубившего тему «деревни», в эти годы вышли сразу ставшие популярными «Крестьянские дети», «Коробейники», «Мороз, Красный нос». Он спланировал молодых литераторов, сделался кумиром «новых людей», так называли шестидесятников XIX века их менее активные современники. «Мои первые знакомства с “новыми людьми”, посещения вечеринок, разговоры, споры, речи, слышанные мною в то время, я подробно описывала моей сестре, жившей в провинции», – вспоминала Водовозова.

Появились «новые люди» и в провинции, в частности, в Рязани. О них писатель Н.Н. Златовратский рассказывал уже не в частном письме, а в книге «Воспоминания». Ему, будучи гимназистом, пришлось недолго учиться в рязанской гимназии, где его дядя Александр Петрович Златовратский преподавал словесность. Его нравственно-идейное влияние писатель потом чувствовал всю жизнь, хотя умер тот рано, в 1863 году.

Так случилось, что о А.П. Златовратском я узнала значительно раньше, чем о Худекове. Более двадцати лет назад в издательстве «Мо-

сковский рабочий» вышел путеводитель «Дом на Большой улице», моя первая книга, книжечка, написанная в соавторстве с ныне покойным С.В. Чугуновым, тогда известным в Рязани краеведом и архитектором-реставратором. В ней рассказывалось о первой Рязанской гимназии, о её учениках и учителях, пара страниц посвящена была А.П. Златовратскому. Приведу их.

«Большой любовью у воспитанников пользовались преподаватели гимназии А.П. Златовратский и Д.И. Григоров. “Это был горячий, увлекающийся человек, – вспоминал о Златовратском один из его бывших учеников, В.В. Насакин, – с наилучшими стремлениями, с горячей любовью к людям и ко всему возвышенному и благородному. Относился он к нам совершенно просто. Разбирая с нами какое-либо литературное произведение, он касался не только достоинств и недостатков последнего, но и развивал попутно свои взгляды на жизнь и людей, на задачи предстоящей нам самостоятельной жизни и всё это так горячо, так возвышенно, благородно, что мы с увлечением слушали его и, конечно, искренно любили”. А разбирались произведения Тургенева, Григоровича, Достоевского, Некрасова, критические статьи Белинского и особенно часто Добролюбова, который был другом Златовратского с юношеских лет и с которым он постоянно переписывался. <...>

Златовратский любил Добролюбова как человека и очень ценил как критика. Он целиком прочитывал в классе выходявшие в журналах статьи Добролюбова “Тёмное царство”, “Луч света в тёмном царстве”. Особенной популярностью у слушателей пользовалась последняя статья. “Мы, юнцы, – вспоминает другой бывший ученик, И.И. Янжул, – хотели горячо верить, что это... был не единственный «луч», и что таких лучей скоро будет много, и что мы сами, как мы мечтали, будем скоро принадлежать к ним... Я помню, как Златовратский принёс известное стихотворение Добролюбова, выставленное у него эпиграфом, и прочитал, чуть не покрывая рыданиями:

Милый друг, я умираю  
Оттого, что был я честен,  
Но зато родному краю,  
Верно, буду я известен”.

Эрудированный, хорошо знавший иностранные языки Дмитрий Николаевич Григоров преподавал историю. Он умел владеть вниманием аудитории, и на уроках его всегда стояла тишина заинтересованности, которую Дмитрий Николаевич порой сам и нарушал, задавая для оживления неожиданные вопросы.

«В провинциальном городе, среди поголовной спячки и пустого времяпрепровождения Григоров являлся светлым и отрадным исключением. Он усердно следил за литературой и журналистикой и по широте развития и серьёзности ума был целой головой выше своих коллег... его общество очень любила известная писательница, жительница Рязани Н.Д. Хвоцинская-Зайончковская», – вспоминал один из выпускников гимназии В.И Шенрок».

Подростка Николая Златовратского поразило в рязанской гимназии, прежде всего, то, что в ней «уже почти совсем не практиковались ни порка, ни затрецины, ни драньё вихров и ушей, а с учениками старших классов даже обращались на «вы». Сравнивая позднее обстановку в ней с той, какую он видел во владимирской гимназии, Златовратский заключил, что в рязанской «вообще на всём школьном распорядке лежала печать... некоторой порядочности», и потому в неё «охотно шли новые, молодые педагоги, которые уже нередко несли с собою “нечто”, подрывавшее и корни самой системы (педагогической. – И. К.). “Нечто” это, прежде всего, заключалось в том, что они стремились во всём поступать просто, “по-человечески”, отменяя всё мертвенно-сухое, холодное и жестокое, что лежало в корне системы».

Н. Златовратский признаёт, что на него оказали влияние молодые педагоги, группировавшиеся вокруг его дяди, но затрудняется определить, в чём именно состояло их влияние. Немалую роль сыграло поведение молодых людей. Именно оно особенно ярко запомнилось подростку: «Все они, бодрые, жизнерадостные, оживлённые, пережили первые дни медовых месяцев своей молодой жизни, откровенно и непринуждённо делясь друг с другом всем, что зарождалось, бурлило и перерабатывалось в их молодых умах, охваченных идеалистическим брожением. И всё это происходило на моих глазах, в домашней обстановке, просто по-человечески и, конечно, не могло не поражать меня, прежде всего, контрастом между теми представлениями о педагогах, которые сложились у меня почти с детства, и тем, что я видел здесь».

Удивляло его и то, что даже на уроках эти «новые» педагоги оставались «совсем такими же простыми, ласковыми, искренними и оживлёнными, как дома». Фамилий педагогов он не запомнил и к присутствию «новых людей» в стенах рязанской гимназии отнёсся как к явлению частному и даже решил, что возникло оно «благодаря, быть может, случайной традиции, заложенной раньше кем-либо из руководителей школы». Николай Златовратский тогда был потрошески недалёковиден, а потому и не делал правильных выводов из частых вечерних отлучек дяди, объясняя их лишь тем, что «дядя

был влюблён», и, не подозревая, что «новые люди» могут быть и за пределами гимназии.

А в Рязани жила тогда уже ставшая известной писательница Надежда Дмитриевна Хвоцинская, издававшая свои произведения под псевдонимом В. Крестовский. И уже издатель «Отечественных записок» А.А. Краевский организовал шеститомное издание её романов и повестей. В марте 1858 года «Отечественные записки» объявили: «В. Крестовский (всем известный псевдоним дамы-писательницы) готовится к изданию полное собрание своих повестей и романов...» Об этом значительном для литературной провинции событии, конечно, знал А.П. Златовратский, как от самой писательницы, с которой был хорошо знаком, чьим трудолюбием восторгался: «Своими литературными трудами она содержит всё семейство», так и от друга и бывшего однокашника по Главному педагогическому институту Н.А. Добролюбова. Тот из столицы оповещал его о важных событиях, в частности, например, сообщал: «Общество ваше оживит, вероятно, Салтыков, который на днях, кажется, едет уже к вам. Вот будет поле практической деятельности литератора!» Чиновник особых поручений VI класса Министерства внутренних дел Михаил Евграфович Салтыков к тому времени получил известность как автор «Губернских очерков», Н. Щедрин. А подробности биографии автора подогревали к нему интерес демократически настроенных читателей: он незадолго перед тем был освобождён из вятской ссылки, где пребывал за «вредный образ мысли и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу». И вот молодой, тридцатидвухлетний, человек с таким прошлым назначался в Рязань вице-губернатором. Рязанское общество было заинтриговано, служащая молодёжь радовалась, не зная, однако, чем объяснить столь странное назначение. Да и сам виновник переполоха в рязанском чиновничьем обществе не ведал истинных причин своего назначения. «Поздравь меня, любезный друг и брат! Я назначен совершенно неожиданно вице-губернатором в Рязань... Я совершенно доволен. Губерния хорошая, близко от Москвы, и губернатор только что назначенный из лицейских», – писал он брату.

Он прожил в каменном, большом и неудобном доме на берегу Лыбеди, как раз напротив гимназии, более двух лет. Жил очень скромно и уединённо, редко бывал в гостях и принимал гостей у себя. «Живём мы по-прежнему скучно... – писала его жена сестре. – Паркет в большой зале перестлали, стало очень нарядно, также и в гостиных, можно бы, кажется, всех принимать, но Мишель и слышать не хочет о журфиксах...». Слышать о журфиксах он не хотел, потому что с утра до ночи

был занят. «С самого приезда моего сюда я постоянно нахожусь в совершенно каторжной работе и не только не могу ничем заняться, но, положительно, ничего даже прочесть не могу... Я каждый день до 12 часов занят...» – объяснял новоявленный вице-губернатор одному из петербургских знакомых, почему долго не отвечал на его письмо. Но это не значило, что он совершенно оторвался от общественной и литературной жизни, не оправдал надежд тех же «новых» преподавателей. В силу занимаемой должности он исполнял и обязанности главного редактора газеты «Рязанские губернские ведомости» и привлекал к работе в ней интересных, самобытных авторов со всей губернии. Пригласил и А.П. Златовратского сотрудничать в её неофициальном, литературном отделе. Позднее, оценив редакторские способности Салтыкова, тот назвал его «главным вожаком» «Рязанских губернских ведомостей». К «новым людям» он тоже изредка навещался. Посетил или даже посещал сестёр Хвоцинских. Авторы, позднее упоминавшие об этом визите, давали понять читателям, что своим посещением Салтыков оказал хозяевам честь. Но это оценка события по прошествии многих лет, когда Салтыков-Щедрин воспринимается читающими людьми со школьных лет как великий писатель, а о Надежде Хвоцинской мало кто знает. Во время визита расстановка величин была обратной: Надежда Хвоцинская – известная писательница, выпустившая собрание сочинений, Салтыков – начинающий, хоть и перспективный литератор. И посещал её он именно как собрат по перу, а вовсе не как вице-губернатор. Вероятно, при этом визите были ещё какие-то посетители. Одна из сестёр Хвоцинских вспоминала: «Каждый вечер собирался у нас кружок близких знакомых, деятелей по крестьянскому вопросу, шли оживлённые беседы очень серьёзного содержания; слышался иногда и заразительный смех».

А вот в качестве кого, писателя, вице-губернатора, главного редактора или приятеля, ездил Салтыков в неблизкое имение Песочня Ряжского уезда к помещику А.И. Кошелеву, не ясно. Кошелев – фигура многогранная: славянофил, реформатор, ярый сторонник отмены крепостного права, талантливый хозяйственник и финансист и при всём этом заядлый театрал.

Своею работоспособностью, искренним желанием улучшить положение дел в губернии, честностью, даже ограниченностью в средствах (он платил только за дом из собственного кармана 600 рублей в год, деньги очень большие по тому времени) Салтыков вполне соответствовал «новым людям».

Сергей Худеков той поры соответствовал «новым людям» в большей степени, нежели Салтыков. Он тоже отличался большой рабо-

тоспособностью, но продвижением по службе был обязан только себе. В отличие от Салтыкова его не поддерживали ни знатность, ни богатые родственники, ни полезные знакомства. Дворянином он был мелким и всего в третьем поколении. Его прадед Иван Максимович Худеков (1731 – ?) удосужился попасть всего лишь во вторую часть родословной книги Воронежской губернии, а эта часть не давала наследственной дворянской принадлежности. Дед Матвей Иванович (1770–1823), в конце карьеры губернский почтмейстер и надворный советник, дослужился только до того, что сам и род его были внесены в третью часть родословной книги Рязанской губернии. Отец Сергея Николай Матвеевич (1800–1883) семейной родовитости не преумножил. Служил в Московской Казённой палате, достиг лишь чина коллежского секретаря, а потому так и остался со своими чадами в третьей части, что ему не раз приходилось доказывать, когда подросли сыновья. С прибавлением недвижимости тоже дело обстояло не лучше: большой любитель картёжной игры, он часто проигрывал, в результате из Москвы был вынужден перебраться в доставшееся от отца сельцо Подобреево, Бутырки тож Михайловского уезда Рязанской губернии, но и того едва не лишился. Часть имения продал или проиграл, а оставшуюся, Бутырки, во избежание греха, чтобы не пойти по миру, записал на жену. В общем, Сергей Худеков происходил не столько из рода дворянского, сколько разночинного. Все известные предки его до статской службы побывали ещё и на военной, но и там не преуспели.

Как и «новые люди», Сергей Худеков мечтал о переустройстве общества и не желал жить по старинке, но отличался от Златовратских и им подобных отсутствием аскетически-революционного настроения, стремления, отказавшись от собственного благополучия, трудиться во благо обездоленных. Он преследовал в жизни, прежде всего, свои личные цели, не скрывал этого, полагая, что из частных достижений складываются общие. «Малютка бедный в лохмотьях» тоже трогал его сердце, но он понимал, что такие малютки есть не только в крестьянской среде, и не хотел заикливаться в своём творчестве на изображении всяческих невзгод. Это был вовсе не тот «новый человек», которого исследовал Тургенев в романе «Отцы и дети», и не тот, кого представил Н. Златовратский в образе своего дяди. Худекова скорее можно причислить к тому типу людей, которых в наше время называют «новыми русскими». Они далеки от «стадности» «новых людей» XIX века, живут сами по себе, предприимчивы безоглядно, способны на большой риск. Интересно, что эти же качества приписывает некий астролог Луис Хамон и людям, родившимся 10 декабря, день рождения Худекова по новому стилю. Сейчас всё ещё модны всякие гороскопы, и я не удержалась, заглянула в один из них. И вот, что там выбрала:



«Люди, родившиеся в указанные числа, обладают воистину “солнечным” характером – всегда жизнерадостны, излучают оптимизм и исполнены надежды; эту радость жизни не способны омрачить никакие трудности; они оптимисты в полном смысле этого слова.

<...> Они смелы и предприимчивы; потерпев неудачу, они берутся за дело снова и снова и в конце концов добиваются успеха.

<...> В любом деле они проявляют огромную энергию и никогда не тратят времени даром. Они не терпят над собой начальников, и по этой причине часто сами становятся руководителями.

У них большие амбиции, однако они всегда отдают себе отчет в реальности своих желаний. Поэтому они никогда не хотят невозможного и не требуют “звезду с неба”».

## ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

### В первом приближении

**Х**оть и не замечены родившиеся 10 декабря в тяге к компанейству, но начинающим авторам без писательской среды не обойтись, и литературно озабоченный ротмистр её искал и в Петербурге, и Павловске, куда издавна съезжались писатели на дачи. Панаев, к которому в то время как раз пришло второе дыхание (он опубликовал «Воспоминания о Белинском», а несколько позднее «Литературные воспоминания»), описывал одно лето, когда он жил на даче в Павловске вместе с Краевским. А флигель дачи занимали Боткин и М.А. Языков, у которого гостил Огарёв, и время от времени наезжали ещё разные их приятели. Лето это не было исключением в дачном писательском сезоне, поменялся только состав живущих на даче: «Одних уж нет, а те далече».

Краевский и Панаев едва ли привлекали Худекова. Не обуреваемые экстремизмом молодые люди собирались вокруг поэта Якова Петровича Полонского, который, по определению литературоведов советского времени, «не пришёл к чёткому социальному самоопределению», что не помешало ему быть другом таких столпов, как Тургенев и Фет. Впрочем, они тоже к этому самоопределению не пришли. К Полонскому, помимо его отношения к искусству и роли литературного мэтра – наставника молодых, Худекова могло притягивать и то, что оба были связаны с Рязанью. Правда, в то время генетически, но есть в этом русском городе что-то особенное, чарующее. Вот ведь и Белинского не оставил он равнодушным. «Я тут в первый раз собственным своим опытом узнал, что в России есть прекрасные города...» – писал он. И покинувший его Салтыков написал: «...Следя за “голосами из Рязани”, я с удовольствием вижу, что город этот решительными и быстрыми шагами изготавливается к совершенству, – и закончил свой панегирик словами, то ли в шутку, то ли всерьёз: – Ах! если бы можно было умереть в Рязани!» А уж

земляки, встретившись за рязанскими пределами, чувствуют друг к другу поистине родственную привязанность.

Худекова собственно с Рязанью связывал дед по отцу Матвей Иванович, связь с Рязанской губернией была ещё прочнее. Прослужив почтмейстером в Оренбурге, затем – губернским почтмейстером в Уфе, Матвей Иванович в 1804 году был «за слабостью здоровья из почтовой службы уволен» и переехал в Рязанскую губернию, где начинал свою карьеру в 1796 году подканцеляристом Гражданской палаты Рязани. В этом году Рязань как раз стала центром Рязанской губернии. На рязанской земле родились дядья Сергея, Александр, Кесарий, Владимир и Константин.

Последний два года (1826–1828) учился в Рязанской губернской гимназии, в которую перешёл из Рязанского уездного училища. Учился в ней и Полонский, но в другое время: он был младше Константина на шесть лет. Однако оба, даже если судьба и не свела их, застали то время, когда в гимназии зарождалась традиция порядочности, подмеченная юным Николаем Златовратским спустя тридцать с лишним лет.

Основателем её, который, по предположению писателя Николая Златовратского, отличался «некоторым присутствием джентльменства в своей натуре», был директор гимназии Николай Николаевич Семёнов, прежде никак не связанный с педагогикой, бывший военный, гвардии штабс-капитан. Пребывание его на этом посту (1827–1845) изумило даже привыкшего ко всякого рода метаморфозам Николая I, когда, проезжая через Рязань, он посетил гимназию. «Ба! И ты, Семёнов, попал в учёные!» – воскликнул царь. И, тем не менее, из бывшего бравого гвардейца вышел неплохой руководитель. О нём много потом рассказал Полонский в своих опубликованных и устных воспоминаниях. Семёнов представлялся ему директором довольно демократичным, хорошо знавшим своих воспитанников, не ленившимся посещать их родственников (например, побывал у тётушек Полонского после конфликта того с учителем рисования), запросто навещавшимся в гости к своим педагогам.

Полонский не забывал о том, что благодаря Семёнову состоялась его встреча с В.А. Жуковским. Это сам Семёнов заказал стихи юному поэту Якову Полонскому (знал склонности гимназистов) к торжественному акту, посвящённому приезду высокого гостя – наследника престола Александра, которого сопровождал его воспитатель Жуковский. Когда гость от чествований в стенах гимназии отказался, Семёнов показал стихи своего ученика Жуковскому.

Жуковский был родственником Семёнова по линии матери – двоюродным дядей, поэтому, приехав в Рязань, остановился у него.

В деревянном директорском доме, стоявшем напротив гимназии, и состоялась встреча Полонского с известным поэтом, который захотел познакомиться с юным автором. Встретились они один на один. «Кто-то доложил о моем приходе, – вспоминал Полонский. – И вот, вижу я, выходит ко мне высокий, полный, несколько сутулый, мне совершенно незнакомый господин... Этот господин был Василий Андреевич Жуковский. Он сказал мне, что стихи мои ему очень понравились...»

Позднее, уже после отъезда высоких гостей, на торжественном акте, подводившем итоги посещения, Полонскому от имени наследника были вручены золотые часы. Небольшие, украшенные эмалью цветами, они обратили внимание дворянского общества Рязани на молодого человека. Он сделался вдруг популярным не по летам, не по социальному положению. После смерти матери и отъезда отца на службу в другой город ему пришлось жить у родственниц по матери. Мать его происходила из старинного дворянского рода Кафтыревых, и дом родственницы имели на одной из главных улиц, Дворянской, но богатыми не были. Однако внимание наследника престола к их воспитаннику, эти золотые часики, подняли скромных женщин в глазах сограждан. Вместе с племянником их стали чаще приглашать в гости.

Могли встречаться они за чашкой чая или в церкви Николы Дворянского и с бабушкой Худекова, Варварой Николаевной, иметь с ней общих знакомых.

А Семёнов торжествовал, что не ошибся в ученике. Бывший военный сам тяготел к литературе и поощрял сочинительские наклонности не только в учениках, но и в своих детях. Возможно, именно интерес к этому виду творчества побудил его с симпатией относиться к находившемуся в Вятке молодому ссыльному вольнодумцу Михаилу Евграфовичу Салтыкову. Семёнов тоже оказался в Вятке, но в результате продвижения по службе, был назначен губернатором.

П.П. Семёнов-Тян-Шанский полагал, что знаменитый писатель своей чиновничьей карьерой, да и в какой-то мере освобождением из ссылки обязан Н.Н. Семёнову. Не без его участия Салтыков сделался «сначала старшим чиновником особых поручений, в следующем году – советником губернского правления, а через восемь лет переведён на должность вице-губернатора в Рязанскую губернию». Племянник по-родственному называет дядюшку «добрейшим губернатором», а принципиальный писатель Салтыков-Щедрин в очерке «Приятное семейство», где Н.Н. Семёнов предстаёт в образе князя Чебылкина, высмеивает точку зрения бывшего своего благодетеля на литературу вообще и на то, как он представляет в ней обличение взяточничества.

«...Какое ныне направление странное принимает литература – все какие-то нарывы описывают! и так, знаете, всё это подробно, что при

дамах даже и читать невозможно...» – рассуждает князь и рекомендует о взяточничестве писать так, «чтобы читателю приятно было; ну представь взяточника, и изобрази там... да в конце-то, в конце-то приготовь ему возмездие... потому что, если возмездия нет, стало быть, и факта самого нет, и всё это одна клевета».

В общем-то, не такая уж нелепая эта читательская точка зрения, чтобы не то что смеяться, а не согласиться с ней даже через полтора века, а тогда и маститый писатель Полонский и начинающие Боборыкин и Худеков разделяли её, а не взгляды сатирика Салтыкова-Щедрина. И было о чём землякам Полонскому и Худекову поговорить, кроме обсуждения рязанских новостей. Но, увы, это лишь предположение, что встречались они в доме Штакеншнейдера, где жил Полонский, в доме того самого архитектора, по проекту которого строился павловский Вокзал.

Нет свидетельств и тому, что Сергей Худеков побывал в длинном трехэтажном доме Куканова, в светлом просторном кабинете редактора «Библиотеки для чтения», где висели огромные портреты Беранже и Жорж Санд у огромного же письменного стола. Хозяин восседал за ним по-домашнему в халате, распахнутом на груди, и, кроме этой милой непринуждённости, каждому посетителю, как бы ни волновала его встреча с вершителем литературных судеб, бросались ещё в глаза висящая зимой и летом на стене шуба, а под ней ночной горшок. Вершителем судеб был Алексей Феофилактович Писемский, известный писатель, автор очень популярной пьесы «Горькая судьбина». Она не только пользовалась успехом у зрителей и актёров, но и признана была официальными лицами: получила так называемую Уваровскую премию одновременно с «Грозой» А.Н. Островского. Кстати, по словам А.Ф. Кони, такие тогдашние авторитеты, как Галахов и Щепкин, считали, «что Академии наук не следовало присуждать Островскому Уваровскую премию за эту драму – за произведение, на представление которого нельзя идти порядочному семейству и куда, конечно, сам граф Уваров никогда бы не повёл свою дочь».

Так же, как Худеков, Писемский смолоду увлекался театром, был хорошим чтецом и актёром и своими политическими взглядами больше соответствовал ему, чем кто-нибудь другой из писателей с именем.

А вот посещения молодым красавцем ротмистром Фанни Снетковой, примадонны Александринского театра, «первого сюжета», как тогда говорили, были, по-видимому, замечены ревнивым взором его более успешного тогда собрата по перу Петра Боборыкина. «Она, – вспоминал Боборыкин, – вела самую тихую жизнь и довольствовалась кружком знакомых её сестры, кроме тех молодых людей (в особенности гвар-

дейцев, братьев Х-х), которые высиживали в её гостиной по несколько часов, молчали, курили и «созерцали» её».

Тактику ухаживания «кто кого пересидит», выходит, применял и сам Боборькин, но не признавал этого тогда, не понял и потом, почти через полвека, когда писал свои мемуары. Полагал, что посещал очаровательную Фанни по праву автора пьесы «Ребёнок», в которой она сама захотела играть Верочку.

За двумя нерасшифрованными «Х», конечно, могут скрываться и не Худековы, а если это они, то кто второй брат, Павел, Михаил, Владимир? Сергей Худеков имел в то время четырёх братьев (пятый – Василий погиб во время Крымской войны). Самый старший из них, Николай, занимал какую-то юридическую должность и тоже, как Сергей, тяготел к сочинительству. Он вместе с Н.А. Долгоруковым перевёл



*Ф.А. Снеткова*

с французского драму О. Фейе «Далила», шедшую незадолго до того времени на сценах императорских театров Москвы и Петербурга. Об этом Боборыкин не мог не знать, тем более признавался: «...Этот спектакль заронил в меня нечто, что ещё больше стало влечь к театру». Надо думать, исполнительница роли Долилы в Александринском театре, роскошная Владимирова, первая героиня и кокетка, тоже отношение к этому влечению имела: «...г-жа Владимирова даже увлекла меня своей внешностью».

В «Далиле» играла и Снеткова, так что у Худековых был повод её посещать, а причиной служило то, что Фанни была юной знаменитостью, умной, скромной и прелестной, как полевой цветок, её неброская красота раскрывалась и подчёркивалась на сцене не только благодаря ухищрениям гримёров: она сама чудесным образом хорошела во



*В.Н. Асенкова*

время игры. Снеткова была первой и, как считали современники, непревзойдённой исполнительницей Катерины в «Грозе». Критики отмечали глубину и достоверность исполнения в сочетании с лиризмом и женственностью, сходились на том, что особенно ей удавалась сцена покаяния героини, где актриса сумела придать монологу трагическое звучание в соответствии со своим сдержанным темпераментом. «Для людей моего поколения, – отмечал Боборыкин, – образ Катерины слился с этой именно актрисой... Натура Катерины, страстно сдержанная, с налётом наивной религиозности, поэтически чувственная, склонная к уколам совести, к трагическим порывам раскаяния нашла в Снетковой особенно чуткую толковательницу. Всё в ней подходило к такому психическому типу: тон, характер красоты, что-то угнетённо-порывистое, под чем чувствовался огонь страсти».

Играла Снеткова и в трагедиях Шекспира. Наивна, трогательна и убедительна была в образе Корделии («Король Лир»), прелестной, доверчивой и незащитной, преисполненной любви к мужу представляла её Дездемона (Отелло). Однако критики считали, что органичнее она в комедиях, особенно в тех, где изображает шаловливых, легкомысленных или своенравных девушек, неизменно привлекающих внимание своею грациозностью, непосредственностью, мелодичным голосом. Зрителям старшего поколения она напоминала приму театра конца 30-х годов, незабвенную Варвару Асенкову, в которую, по слухам, будучи бедным студентом, влюбился Некрасов и совершал с ней романтические прогулки по тёмным аллеям Павловского парка. Слухи слухами, а доказательство преклонения поэта перед талантом актрисы – его стихотворение «Памяти Асенковой», написанное спустя годы после её ранней смерти. Он, в частности, передаёт впечатление от игры актрисы:

... Я помню занавесь взвилась,  
Толпа угомонилась –  
И ты на сцену первый раз,  
Как светлый день, явилась.

Театр гремел: и дилетант,  
И скептик хладнокровный  
Твоё искусство, твой талант  
Почтили данью новой.

И, точно, мало я видал  
Красивее головок;  
Твой голос ласково звучал,  
Твой каждый шаг был ловок...



Боборыкин свое впечатление от игры Фанни Снетковой выразил более лаконично: «Такой милой поэтичной инженю я ещё не видал на русской сцене».

Худеков никаких оценок не оставил. Можно лишь предположить, что, глядя на чуть затуманенное папиросным дымом (едва ли гости осмеливались курить трубки) лицо девушки, будущий драматург представлял волшебные перемены милых черт в ролях ещё не написанных им пьес. Однако его грёзам не суждено было осуществиться: прелестная Фанни оставила сцену задолго до премьеры его пьесы, вышла замуж, изменила фамилию, стала Перфильевой и вернула имя, данное ей при крещении, Федосья.

Фанни жила со своей сестрой Марией Александровной, танцовщицей Большого театра. Та тоже имела вес в балетном кругу, не была девушкой у воды, как называли тогда танцовщиц кордебалета последнего ряда, стоящих на сцене у самого задника. Попав в театр ещё до Крымской войны, она в конце 50-х – начале 60-х годов входила в так называемую балетную «старую гвардию», к которой, кроме неё, причислялись А.И. Прихунова, М.П. Соколова, А.П. Макарова. Видевшая этих танцовщиц, будучи воспитанницей Театрального училища, Екатерина Вазем вспоминала: «Макарова и Снеткова часто танцевали вместе. Это была совершенно исключительная по красоте пара. Снеткова – брюнетка с прекрасной фигурой, а Макарова – блондинка, – они обе были очень хорошими классическими солистками, исполнявшими иногда и характерные танцы. Я вспоминаю, например, Снеткову и Л. Иванова в испанском танце в “Севильской жемчужине”, где они создали прекрасную картину в хореографическом и декоративном отношении».

Гостиная Снетковых при всей скромности и нравственной чистоте хозяйек очень отличалась от тех гостиных, где прежде бывал Сергей. Молодые и не очень, гости, собиравшиеся в ней, в основном профессионально, а не дилетантски были связаны с искусством и разговоры вели не о погоде, не о видах на урожай, да и крестьянского вопроса касались мало. Бравый гвардеец Худеков молчал, курил, но мотал на ус подробности неизвестной ему жизни людей театра и тех, кто зарабатывал себе на жизнь литературой, в основном писанием пьес и рецензий на концерты и спектакли. Скорее всего, через гостиную радушных хозяйек он проник в закулисный мир Александринского и петербургского Большого театров. Если не самим сёстрам он был обязан тем, что стал своим человеком за кулисами, то их партнёрам мужчинам.

Кстати, в той же «Далиле» играл товарищ Фанни по театральному училищу, принятый в театр на амплуа «любовника», Павел Малышев,

который был всего годом старше Сергея, а Фанни – годом младше. В общем, если принять во внимание ещё и возраст Боборыкина, в гостиную собирались сверстники, что должно было уже само по себе, помимо любви к театру, объединять их. Мария, шесть – семью годами старше, молодёжной компании не нарушала.

Почтить своим присутствием молодёжь мог раз – другой и любимец публики Василий Васильевич Самойлов, партнёр Фанни в ряде спектаклей, тоже участвовавший в «Далиле», бывший горный инженер.

Интересно, что горный институт закончили такие видные актёры 40-х начала 50-х годов, как Каратыгин и Брянский. Приобретённая учёбой профессия сулила им достойное существование: профессия инженер в то время была более, чем престижной и прекрасно опла-



чивалась, чтобы получить её нужно было затратить немалые деньги. И все усилия для этих троих оказались потраченными впустую. Тяга к театру, на подмостках которого зачастую оказывались люди, едва умеющие читать, пересилила доводы здравого смысла. Тяга эта, как заразная болезнь, охватила образованную часть общества. Чтобы в какой-то мере удовлетворить её, в богатых домах стали заводиться театральные залы, устраиваться любительские спектакли. Играли в них и литераторы, например, Писемский запомнился в роли Городничего, Вейнберг – Хлестакова, даже «литературные «имена» выступали в немых лицах купцов, в том числе и Тургенев». Играли драматурги А.Н. Островский и А.А. Потехин. «Самые испытанные театралы» съезжались в Пассаж, где любителям был отведён зал со сценой. На ней Островский появился в роли Подхалюзина в собственной пьесе «Свои люди – сочтёмся». Ему растроганные зрители поднесли венок.

Самойлов почти не играл в пьесах Островского. Известно, что ему не удалась роль Любима Торцова. Не удивительно: купеческую среду он не знал и не интересовался ею. Его привлекали мелодрамы на исторические темы, водевили с переодеванием и сложным гримом, который, будучи и недурным художником, он делал сам. К тому же водевили давали ему возможность создать образную галерею представителей среднего слоя общества, чиновников, ремесленников, актёров. Особенно ему удался образ самоуверенного, наглого авантюриста Кречинского в «Свадьбе Кречинского» Сухова-Кобылина. В 60-е годы всё большее место в творчестве этого талантливого актёра стали занимать роли исторических персонажей, среди них шекспировские Гамлет и Лир.

Но он был на четверть века старше Сергея, в труппе Александринского театра занимал главенствующее положение, это позволяло ему говорить заведующему репертуаром Фёдорову «ты» и называть его по-свойски «Пашей». Что для такой знаменитости один из переводчиков пусть и популярной пьесы, тем более его младший брат, хоть и украшенный не по возрасту отличительными знаками ротмистра.

А вот участие знаменитого актёра в «Далиле» грело самолюбие как переводчика пьесы, так и его близких. Надо, впрочем, заметить, что не только петербургские знаменитости в ней участвовали: в московской постановке играл великий Щепкин.

Тогда в российских театрах установилась мода на иностранные пьесы, особенно французские. Поэтому люди, прилично знающие французский язык и знакомые с требованиями сцены, могли приобщиться к драматургии в качестве переводчиков или даже драматургов, переделывающих чужие зарубежные пьесы на свой русский лад. Такая переделка не возбранялась, не считалась плагиатом. Самыми востребованными у зрителей оказались пьесы на тему взаимоотношений бедного

талантливого художника (человека искусства) и высокомерной богатой аристократии, света, и некоей вариации её – любовь и предрассудок. Один из вариантов темы – бедная влюблённая пейзажанка и богатый любящий её сюзерен была хоть популярна, но, в общем-то, привычна на русской сцене. Французские авторы предлагали её новую более захватывающую комбинацию и драматическую комбинацию: влюблённый бедный художник и богатая аристократка. Эта тема и раскрывалась в «Далиле», которая в 1858 году прошла девять раз в Москве и четыре раза в Петербурге. В Москве ставилась и в следующем году, а из столиц двинулась в провинцию, где тамошние первые сюжеты выбирали её для своих бенефисов. Что же касается участия Самойлова в «Далиле», то в одной из рецензий отмечалось, что играл он «неубедительно».

Однако весьма сомнительно, что Самойлов ввёл Сергея в свой круг знакомых, тем более этот круг был намного шире, чем у Фанни Снетковой. Самойлов был богачом, домовладельцем, членом дорогих клубов, где вёл крупную карточную игру. Некоторые считали, что она способствовала его богатству.

Но любопытный факт всё-таки связал их в истории театрального искусства. Сохранилась рецензия «Горе от ума» с новой обстановкой», предположительно написанная Худековым и совершенно точно опубликованная в «Петербургской газете» в 1880 году, когда уже издателем-редактором её был Худеков. Так что если не сам он, то с его ведома рецензент обрушивается на знаменитость: «Г-н Самойлов похоронил Загорецкого, в нём не было ни подвижности, ни юркости, ни тени Загорецкого. И хотя бы стихи-то выучил!.. А то чуть ли не каждая фраза (а их так немного в роли) перевиралась г. Самойловым. Ведь это неуважение к Грибоедову и к публике, которая наизусть знает «Горе от ума». За это штрафовать следовало».

Убийственный разнос. В наше время едва бы кто-нибудь подобному подверг всенародного любимца.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### «Не было бы счастья, да несчастье помогло»

**К**роме актёров, проводниками в театральный мир для Худекова могли стать и драматурги. Они по правилам того времени должны были присутствовать на каждой репетиции своей пьесы. Правда, репетиций было мало, в среднем не более пяти, зато спектакли обновлялись чуть не каждую неделю. Если не брат Николай посодействовал Сергею, так князь Николай Долгоруков, который занимал в театральных кругах более значимое место, чем тот. «Далила» была опубликована в 1858 году в первом томе «Драматического сборника». В том же году во втором томе появилась проба пера драматурга Сергея Худекова – комедия в одном действии (подражание французскому) «Женщина-дипломат», а на титульном листе тома значилось, что автор его князь Николай Долгоруков.

Но как бы там ни было, а Сергей Худеков попал в петербургское «закулисье» и принялся изучать закрытую театральную жизнь, чтобы рассказать о ней тем, кто отделён от неё оркестровой ямой, огнями рампы, сценой, чтобы (о, дерзкое желание!) вывести эту жизнь на самую сцену. Он решил написать о людях театра, о театральном мире пьесу. Решение это подкреплялось эгоистическим, тщеславным желанием увидеть телесное воплощение созданных им образов на сцене императорского Александринского театра.

Тогда в столице было четыре театра:

Большой, где давались оперные и балетные представления и бывали маскарады, для чего за короткий срок воздвигался над креслами пол, и преобразованный таким образом зрительный зал мог вместить более десяти тысяч человек. Во время же спектаклей в нём размещалось более двух тысяч зрителей.

Мариинский театр, рассчитанный примерно на то же количество зрителей, где попеременно давались русские оперные и драматические спектакли.

Александринский театр меньшего размера, чем Большой и Мариинский, имеющий четыре яруса, а те шесть и пять соответственно, и вмещающий до тысячи семисот человек. Спектакли в нём шли исключительно драматические, по субботам – на немецком языке.

Михайловский, с трёхъярусным залом на девятьсот зрителей. Там играли на французском и немецком языках, и посещала этот театр в основном аристократическая публика.

Спектакли можно было увидеть и на клубных сценах, где наряду с любителями выступали и профессионалы.

Худеков по возможности посещал все театры, то, что в Михайловском театре спектакли шли не на русском языке, не служило ему препятствием: он хорошо знал французский. Возможность определялась лишь стоимостью билета. В Большом её диапазон составлял от пятнадцати рублей до десяти копеек. Пятнадцать рублей – цена запредельная, на места рядом с министерской ложей, десять копеек стоили места на галёрке, которая именовалась тогда торжественно, шикарно – «парадиз», но там ничего не увидишь, не услышишь и в офицерском мундире туда не пойдёшь. Короче говоря, чтобы преуспеть в литературно-театральном творчестве, как, впрочем, и в любом другом, Худекову пришлось сначала тратить на своё увлечение деньги, а первые успехи, то есть первые публикации в столичных газетах и журналах, скрывать от коллег и начальства. Литературное творчество в армейской среде не поощрялось. Его материалы печатались под меняющимися псевдонимами. Служивцы знали, что он завзятый театрал, но не подозревали, что он ходит в театр не развлекаться, не ради прекрасных глаз какой-нибудь инженю или корифейки – мечтает своими рецензиями повлиять на театральную жизнь и вкусы публики. И его увольнение в 1865 году на взлёте карьеры не связали с этой тайной мечтой, с его желанием освободить для литературного творчества время.

Да и сегодня это сделать трудно, хотя литературное творчество Худекова и не представляет больше секрета. Скорее связать его увольнение можно с тем, что он получил назначение в 1-й Восточно-Сибирский батальон с прежним чином, но с переименованием в капитаны. Назначение же можно объяснить двояко: как наказание, если молодой человек в чём-то «проштрафился», и как желание какого-то военного благодетеля открыть способному офицеру дорогу для дальнейшего роста. Но в любом случае Худекову предстояло покинуть Петербург на неопределённое время, что, конечно, не могло его устроить. Однако он всё-таки его покинул и отправился в имение родителей Бутырки Михайловского уезда Рязанской губернии. Что наводит на мысль: перевод в 1-й Восточно-Сибирский полк был связан всё-таки с каким-то

его проступком, после которого ему следовало оставить на некоторое время столицу. Может быть, с участием в дуэли или подготовкой к ней? Проступок этот не ронял, однако, его чести в глазах товарищей и начальства, но совершивший его подлежал мягкому, отеческому наказанию. А то, что Худеков предпочёл переводу увольнение, могло быть вызвано семейными обстоятельствами. Ими и было определено место его добровольной ссылки.

Что испытывал он, покидая Петербург, с которым связывал свои честолюбивые планы, где оставались добрые знакомые, приятели, так называемые нужные люди, праздничная атмосфера театров, пленительные девушки и много чего ещё? Что испытывал он, бродя на прощание по аллеям павловского парка, усыпанным начинавшей уже подпревать листвой? Что испытывал, глядя на унизанную слезами-дождинками павловскую плакучую ель? Давал ли себе слово вернуться или доверился судьбе – эх, будь что будет? Но совесть его была чиста: он приносил свою военную карьеру сыновнему долгу и отправлялся из столицы на юг Рязанской губернии в родительское имение Бутырки. А судьба между тем окольными путями вела его к счастью.